

Игорь Шестков "Источник"

Для писателя существует только один источник – прошлое. И только один адресат – будущее.

Из прошлого в будущее устремляется поток героев, событий, мизансцен и мыслей. Через череп писателя, через компьютер настоящего...

Писатель пишет свой текст в скобках существования...

Я леплю словесные фигуры. Обретающие по ходу работы самостоятельность и самобытность, оживающие в тексте, берущие свои судьбы в свои руки, стремящиеся выйти за скобки...

Из самого себя, знакомых, близких, далеких и вовсе никогда не существовавших я делаю новых людей... Они – их страсти, слезы и радости – главная цель, извечное наслаждение писателя, этого фанатичного переработчика вторсырья.

Что мне помогает писать рассказы? Тяга будущего и боль пережитого.

Старейший жанр литературы – рассказ – родился из желания преодолеть боль прошлого... Преобразить ее. И выплеснуть в будущее новой энергией жизни.

Охотник рассказывает о своих ранениях на охоте. О драконах и саблезубых тиграх. Шаман – о путешествии в страну мертвых. О битвах со злыми духами.

Писатель – это и метафизический охотник и путешественник в загробном мире и борец с драконами...

В сумерки или холодной ночью, когда страхи и ужасы гнетут сердце, хочется посидеть у камина с друзьями. Послушать бывалого охотника Балдео из «Книги джунглей» Киплинга. Или прокурора Иозефа К. из «Процесса» Кафки. Или пасечника Фому Григорьевича из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», который, как известно, никогда не носил пестрядёвого халата, а сапоги чистил самым лучшим смальцем...

Русский писатель в Германии? Оксюморон! Так, так...

Кому все это надо? Никому, кроме тебя... Литература – это твое последнее тело, подготовь его к вечности...

Родился я в Москве в 1956 году. В январе. Как мне потом рассказывали – в лютый холод. Моя беременная мама решила на санках покататься. Очнулась – в

роддоме на Шаболовке. В детстве я жил в «Доме преподавателей» на Ломоносовском проспекте. Учился в знаменитой математической Второй школе за универмагом Москва. Литературу нам преподавал толстовец Герман Наумович Фейн (Герман Андреев) – блестящий педагог и добрый человек. Он научил нас читать и анализировать текст. Атмосфера свободы и творчества Второй школы раздражала власти гришинской Москвы. Школу разгромили. Тогда это делали еще без применения ракет воздух-земля, но тоже достаточно эффективно.

В 1978 году я закончил мехмат МГУ. Науку я не любил, учился только для того, чтобы не расстроить бабушку. После окончания университета десять лет работал в НИИ. Параллельно посещал частные уроки живописи. Неоднократно бывал у легендарного Михаила Матвеевича Шварцмана, создателя «иератур». В восьмидесятых годах участвовал в выставках неофициального искусства в Горкоме графиков на Малой Грузинской улице в Москве.

В 1990 году эмигрировал в Германию с женой и дочерью. Наш тогдашний отъезд был, как это сейчас модно говорить, не эмиграцией, а эвакуацией из страны, грозящей не только лишениями и голодом, но и погромами. Погромы не состоялись, но мы уехали.

Я человек без биографии. Писать рассказы начал в 49 лет. В этом возрасте Довлатов уже умер. А я бросил рисование и начал рассказы писать...

Мне не надо путешествовать и встречаться с людьми, чтобы увидеть и понять мир – мир сам приходит ко мне в мой подвальный театр («Записки следователя») и выступает передо мной на сцене, а я его журю и подбадриваю... Кстати, жуткий этот рассказ – один из самых реалистических в моей книге капричос. Был у меня двоюродный брат отца, следователь, жил в Щекино под Тулой. Вся история убийства оттуда, со всеми подробностями. Кто на самом деле убил – никому не интересно. Важно – кого можно за это засадить и что с этого можно поиметь. А сверхзадача – чисто советская – показать народу, что карающая рука, вот она, тут!

С Калдырихой я беседовал недалеко от нашей первой дачи под Нарой.

Многие подробности «снов» – из бессвязных записок дядюшки Шурика. Он

умер в своей однокомнатной квартире в Щекино. Лет семидесяти. Милиция взломала дверь. Шурик лежал мертвый на полу. Тетрадочку его передал мне другой мой двоюродный дядя, из Питера, который ездил в Щекино бедного Шурика хоронить.

Меня иногда обвиняют меня в злоупотреблении насилием и сексом. А мой натурализм, между прочим, произошел не от желания писать так-то и то-то, а от жестокости советской жизни. Нашей жизни. Жизни вообще. Как-то я подсчитал на пальцах, скольких моих родных убили или репрессировали при Сталине, сколько близких, друзей, знакомых погибли в мое время и позже – в девяностые годы прошлого века. Пальцев не хватило. Я знаю, что натуралистические сцены отвращают от моей прозы две главные группы читателей – сверхчувствительных мужчин и стареющих женщин. Знаю, но поделать ничего не могу – мои герои манифестируют не мое, а свое либидо. Иногда в довольно грубой форме.

Мешать им в этом неблагородном деле я не имею права. Безобразничают они, а шишки сыплются на меня, на автора... Это несправедливо – не Толстой спал с лысым Вронским, а потом бросился под поезд, а мадам Каренина, не Достоевский насилдовал девочку, а потом удавился, а Ставрогин.

Добавочной «жесткости» моей прозе придают немецкий язык и немецкое искусство... С кем поведешься... Немецкое предложение – конкретно, ясно.

Информация, точная реплика. Приказ. А фраза на русском языке зачастую вовсе не имеет смысла. Как мост в никуда.

И немецкое искусство удивительно конкретно, до тривиальности прямо. Прямо божественный Дюрер. И Кранах. И Грюневальд. Прямые и экспрессионисты. Не циничны, – конкретны. Смотрел недавно выставку эротической графики Георга Гросса – и с удивлением заметил фактурное сходство с моими текстами, посвященными советской жизни...

Рассказ «Перед грозой» – не тяжкая выдумка. А реальность. Как и другие мои рассказы.

Проза – это палящее метафизическое пространство... От зноя жизни не спрячешься в словечки. Автору не к лицу жеманство. Приходится принимать на себя тяжесть небес. Небес, телес – все одно... Тут не отрава, не забава, не

натурализм. Тут опыты существования... Чистая экзистенция. Нулевая литература. Без фиговых листочков культуры.

На мой взгляд, честный писатель, сочиняя и воспаряя, использует даже не «личный опыт», а, еще ниже, – свою низость и убожество. Гоголь только и делал, что упивался убожеством и низостью Плюшкиных и Маниловых, которых вытаскивал из закровов собственной души. То же самое делал и Достоевский со своими бесами (игрок, сладострастник, убийца)... И даже Толстой (ревность в «Крейцеровой сонате»). Кроме собственной низости или, если угодно, человечности, отлитой в разные образы, у писателя и нет ничего... Все остальное – помпезное вторичное вранье, самовнушение, бессмысленные словесные спекуляции.

Довлатов умудрился из собственных комплексов создать или выдуть как стеклодув целую галерею героев-компенсаторов. Это роднит его с Пушкиным... Который в своей литературе представляется Дон Жуаном или Германом или конногвардейцем, а в реальности должен был против воли надевать мундир камер-юнкера и выпрашивать у царя деньги.

Недавно умер Солженицын. Этот писатель, по-видимому, верил в то, что так, как он написал, все на самом деле в истории и было. Это мания величия. У меня такой веры нет. Человек не понимает не только других людей, но и самого себя. Что же говорить об истории... Но не все так безнадежно... Если писатель беспристрастен, легок как пух, морально нейтрален, политически не заряжен... Тогда он может уловить неуловимое – тайные течения жизни, скрытую жизнь образов и слов. Если же себя заранее «зарядить» чем-то положительным – например патриотизмом, православием и народностью – то художественная правда, вильнув хвостиком, исчезнет. Помните Пушкинское – «Зачем крутится ветер в овраге, подъемлет лист и пыль несет, когда корабль в недвижной влаге его дыханья жадно ждет? Зачем от гор и мимо башен летит орел, тяжел и страшен, на чахлый пенек? Спроси его. Зачем арапа своего младая любит Дездемона, как месяц любит ночи мглу? Затем, что ветру и орлу и сердцу девы нет закона. Таков поэт...»

В рассказе «Доносчица» грань между реальностью и вымыслом не размывается

– там все вымысел, представляющийся автору самой реальной на свете реальностью... Это наш советский «чахлый пень»...

Алконост – это райская птица. Нечто вневременное. Поэт Николай Клюев писал: «Я алконостную Россию засунул в дедушкин сусек», «У Алконоста перья – строчки, пушинки – звездные слова». Иногда Алконоста под влиянием прекрасной картины Васнецова неправильно называют «птицей печали».

Противопоставляя ее птице радости – Сирину. Алконост привиделся герою ключевого рассказа моего сборника. Перед добровольной смертью. Как последнее упование. Попытка пробиться к свету, к радости райской.

В оформлении изданной Литературным европейцем книги «Алконост» я использовал советские плакаты. Меня в этих дебильных изображениях привлекает жалобная нота исчезновения, бессилия идеологии перед сменой исторических формаций. Сменой платформ. Их невыносимым скрежетом. Эта кукрыниксовая ложь была для большинства населения огромной страны – правдой. Сталинские соколы летали в розовом советском поднебесье. Могучие коровы выдавали кубические километры молока. Доярки бряцали блестящими бронзовыми медалями. Миллионы советских людей мирно трудились на своих местах и над всем этим воспарял великий светлый человек Сталин. И вдохновлял. И помогал. И думал о каждом. И вот, все это барахло выброшено на помойку истории. С которой ее пытаются достать новые вожди слепых...

Развивайте свиноводство! Проклятье поджигателям войны! Строго храни военную тайну, сынок!

В своих рассказах я пытаюсь найти этого сынка, этот сюрреалистический звук. Диссонансную, пронзительную ноту, звучащую в эпоху перемен. Так что советские плакаты в книжке – это только изобразительная параллель повествованию. Инварианты совкового сознания. Декорации мелодрамы.

Корень моего писательства – Юго-Запад Москвы, среда моего детства. Туда, в прошлое, бежит мысль, стремится душа. Туда направляются и слова. Чтобы собрать на лапках букв смысл прошедшего бытия, как пчела собирает мед...

Мандельштам писал: «Я человек эпохи Москвошвея...»

А я человек Ленинского проспекта, по которому каждый день ездил на троллейбусе в школу... Мой мир – это Ленинские горы, кинотеатр Прогресс, Калужская застава, Нескучный сад, улица Панферова, где я жил в университетском доме, проспект Вернадского, метро Юго-Западная, рядом с которым, в тринадцатизэтажном доме находилась наша вторая кооперативная квартира. После окончания университета и до отъезда за границу я жил в Ясенево, но это неприятное место так и не полюбил. Мое сердце осталось на Юго-Западе.

Там, на Юго-Западе Москвы частично осуществилась задуманная Сталиным и материализованная в хрущевско-брежневское время коммунистическая утопия. Был построен советский «Город Солнца»... Роль центрального храма на холме выполнял «храм науки» – МГУ.

Во время народных праздников или встреч космонавтов Ленинский проспект украшали красными полотнищами, вечерами загоралась щедрая иллюминация, через металлические репродукторы в уши москвичей транслировалась оптимистическая торжественная музыка. Первый концерт Чайковского... Огромные кирпичные дома внушали жителям бесчисленных коммуналок ложное чувство уверенности в завтрашнем дне, превосходства над остальными москвичами и обитателями провинции. Юго-Запад был триумфом, мечтой, советским Олимпом.

Мое первое послесталинское поколение, выросшее на этом Олимпе, было морально раздавлено историей. О его судьбе я и пишу в своих рассказах. Без обобщений и морализаторства. Без претензий на «литературу».

Литература сама по себе меня больше не интересует. Меня не трогает форма, почти не привлекает поэзия. Я постарел. И цель моя традиционна для стареющих – пробиться к ускользающей реальности, воскресить в памяти навсегда утраченное. Слава Богу, память не безгранична.

На событие можно смотреть по-разному. Например, сверху. Это позиция всевидящего ока. Оно смотрит с небес на людишек, на их копошение, видит все – их рождение, их никчемную жизнь и их конец. Писатель – всевидящее око – планирует, определяет жизнь своих героев. Создает композиции или

конструкции, разворачивающиеся во времени по строго рассчитанному расписанию... Конец известен заранее. Ужасы деструкции и восторги апофеоза пережиты еще до начала писания.

Альтернативой такому писательству служит органическое письмо, открытая композиция. Органический писатель не смотрит на мир сверху, он находится внутри мира. Внутри текста. Он участник, голос, тело, сознание, предложение, слово... Он не планирует повествование, а подчиняется его ходу. Освобождает своих героев от предустановленных пороков или добродетелей, – разрешает им самим развиваться, говорить, действовать.

Боль пережитого вдохновляет писателя на писание, воспоминание – это первичный импульс, завязка... Писатель фиксирует образ словами, создает ядро. И толкает его. Дальше ядро катится само – писатель едва успевает записывать – действие рассказа развивается, разливается как река в половодье. Словесная образная жидкость течет по прихотливым протокам жизни. Течет вниз, как дао... Конец путешествия заранее не известен, апофеоз может и не произойти вовсе. Действие не следует схеме, предустановленной гармонии или запрограммированной катастрофе, а складывается из внутренних потребностей, из прозаических случайностей, из вольного развития речи... Не нужно учить человека и человечество, они не обучаемы. Не нужно что-то доказывать – это бесполезно, жизнь опровергает любые истины. Не нужно манипулировать героями, надо дать им свободу. Воздержаться от подтасовок. Лев Толстой понимал стохастическую природу бытия, но в своей прозе не мог удержаться от планирования. Его органичность распространялась только на детали. Которые именно из-за этого нам так нравятся, несмотря на несносно-большое их количество.

Достоевский слушал голоса своего расщепленного сознания, его органичность распространялась до уровня диалогов. Ветки повествования он силой связывал в пучки и располагал их крестообразно. Так диктовала ему его христианская совесть. От этого его герои теряли убедительность. Исчезала тайна. Романы наполнялись истерикой не желающих подчиняться автору героев. По жилам повествования разливалась ядовитая достоевщина.

Классические примеры органичного письма – это «Гаргантюа и Пантагрюэль» Рабле, «Жизнь Тристрама Шенди» Лоренса Стерна. Из современной литературы – «Москва-Петушки» Венедикта Ерофеева.

Хотя у Ерофеева страшный конец с шилом в горле просвечивает уже в самом начале поэмы – т.е. все повествование происходит, как сказал бы Флоренский, в «обратном времени». Но развития внутри глав бессмертной поэмы – органично. Свободно. Повествование льется как водка в стакан, вдохновляясь от самого себя. Слышны метафизические бульки...

Органичны и «Мертвые души» Гоголя – и внутри одной фразы и в рамках глав. У этой книги нет архитектурной структуры, скорее это аквариум. Попытка превратить его в некое подобие готического триптиха или иконостаса Гоголю не удалась. Его герои так и не стали иконами или иллюстрациями добродетели. Свиные и кувшинные их рылы остались торчать в окнах гоголевской прозы. Не фантазия и не грехи писателя подвели его, а сама животная природа человека-подлеца. Чичикова невозможно переделать в рачительного хозяина. В Коробочке или в даме, приятной во всех отношениях, нет ни скромной добродетельной помещицы, ни тем более – Царицы Небесной. Сопротивление героев навязываемой им их создателем сущности или судьбе может привести писателя к катастрофе. Что и случилось с Гоголем. После его бессмысленно ранней смерти мир так и остался лежать во зле.

Другой подобный эксперимент, проведенный две тысячи лет назад – распятие Бога – тоже не помог. Обещанное воскресение так и не состоялось. Наиболее внушаемые начали тешить себя новой иллюзией. И только...

Я пишу преимущественно визуально. Мысли, рассуждения – вписываю в текст, только если мои герои думают или рассуждают. Даже в диалогах я стремлюсь к визуализации... Т.е. говорящий персонаж, словами, как штриховкой, набрасывает свой характерный силуэт, «рисует» сцену. Наглядность, простота, естественность прозаического описания – это то, к чему я стремлюсь... Длинные предложения наводят на меня тоску – как рисунки с бесконечным количеством лишних линий...

Я не боюсь элементарно построенной описательной фразы. Если бы мог – писал

бы без глаголов. Глагол – это авторский пинок в зад герою. Иди туда-то и туда-то. Делай то-то и то-то, говори так. Чувствуй так... А из безглагольного описания действие вылезает само. И движения и мысли и чувства...

Пустое пространство на рисунке играет важнейшую роль. Чтобы придать ему форму и рисуются линии. Таинство прозы совершается во время короткой паузы для дыхания – в бессловесной пустоте между фразами, между словами и буквами. Герои прозы живут тут самостоятельно. Это их главное бытие – в отрыве от вериг языка...

В этом январе мне исполнилось 55 лет. Какая-то косая дата.

Две одинаковые ступеньки в никуда. И обе пятые, считая от небытия.

Пять лет до надежной площадки безнадежной старости – шестидесяти, пять лет отрыва от последней цифры с блеском мужской молодцеватости – пресловутого полтинника, полстолетия... И какого мерзкого столетия!

Две ноги скелета – одиннадцать – умножить на шоколадную медальку отличника – пятерку. Одиннадцать пятилетних малышей или пять одиннадцатилетних подростков, удивляющихся утреннему стояку перед отливом и ночным поллюциям – простыномаранию, прообразу будущего бумагомарания и упорного как онанизм клавостука... Графо-манства.

Обожаю строить графики... Синус логарифма икс квадрат. Постройте, не пожалейте времени – какая гармония! Похоже на нашу жизнь – бесконечные колебания вокруг пустоты – нулика и отчаянное гармоническое парение в плюс и минус бесконечность по времени. И все это – между двумя крохотными единичками...

Меня поздравили несколько родных, старая подруга и один единственный, коллега-писатель. Один единственный – тавтология? Да. Ну и наплевать! Ни один читатель обо мне не вспомнил, на кой же хрен мне о читателе думать, если он обо мне не думает? Буду писать тавтологии, сколько мне вздумается... Да здравствуют тавты и логии, горите антоновым огнем любимые метонимии, синекдохи, литоты и антономасии!

Да... к чему это я? А вот к чему. Если мне исполнилось 55 лет, то есть, если я как бы уже не молодой человек, и даже из среднего возраста вышел, и скоро-скоро

превращусь в старого, отвратительно гадкого, ходящего под себя рамолика, то мне как бы того... Можно немножко и побрюзжать...

Не надо о печальном! Поговорим о чем-нибудь приятном. О зудящем, так сказать, и животрепещущем... Например, о судьбе русского писателя...

Уфф... Как приятно уносимому в несуществование, говорить так прямо, по душам, на разрыв тельняшки, с почти несуществующими людьми! Наплевать мне на то, что меня никто не читает, не хвалит, по плечу не бьет, за фалды не хватает, искоса не заглядывает в глаза, не печатает и не платит... И на все прочее тоже наплевать... Или, как немцы выражаются, насвистеть мне на все это...

А не насвистеть мне на то, что русский писатель по определению не может написать легкую веселую книгу... Попробуйте, напишите! Думаете, у вас получится «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»? Нет! Из вашего лазерного принтера выползет все та же «Как закалялась сталь» или «Как нам реорганизовать Рабкрин».

Но даже и на это наплевать. По-настоящему плохо то, что русский писатель не может написать и книгу ужасов... Мы и до Стивена Кинга не доросли. Наше пространство – от национально-вымороченного космонавта Платонова и до Гулага. От котлавана до лагеря. Все остальное – брехливая бытовуха.

Выспренный псевдоисторизм. И гламурное говно.

На нас давит ужас государства, власти. Ужас России. Миллионно-глазой и миллионно-лапой...

Потому что русская правда – это сама Россия – обросший землей и покрытый корнями, пахнувший дерьмом и свежей кровью, косолапый Вий.

И этот ужас в тысячи раз страшнее и ужаснее западных ужастиков – серийных убийц, искусственных метеоритно-вулканных концов света, извергов-извращенцев с длинными железными когтями, ножами, серпами и соковыжималками, рогатых марсианских и местных вампиров, чертей и демонов, пауков, адских двойников, вервольфов... Всей этой милой компании, перепрыгнувшей в литературу и кино из сказок, легенд и прочей стародавней туфты и прилипшей к испуганной подсознанке современного потребителя компьютерных игр.

Не Политковскую убили путинцы, а нас с тобой. В этом и смысл. Каждого – в лобешник.

Завалили нас как Литвина-Литвиненко. Траванули. И лежим мы с тех пор мертвые, с дымящимися дырками в головах, в грязи и соре нашей подлой повседневности.

Лежим и излучаем смерть.

А Луговой и Путин на нас похаркивают.

Не Ходорковского и Лебеда посадили, а всех нас, уже убитых, уже сожженных в бесланском крематории, уже отравленных газом норд-оста, уже взорванных спящими в домах, уже разбомбленных в Грозном и замученных в чернокозовских кровавых подвалах.

Как в страшном кино – живет человек, работает, любит, и видения видит. А потом оказывается, нет, он в палате, в дурке, в смирительной рубашке лежит. И силится кричать, но рот его защит свинцовой ниткой.

Вот в такую палату, скверную, дурную, палату вымороченного бытия превратил Чирей и все его гнойное воинство ту Россию, которую Ельцин отстоял на танке, а потом сам и растерзал и растерзанную отдал тухлоглазому вору.

Долг копится. Заимодавец с острой косою уже размахнулся широким размахом своим.

Вот уже и Соловей разбойник свищет на улицах Москвы.

Чудовища облезлые по улицам бегают.

Кривоногие палачи-космонавты бьют по бошкам безоружных, каленой железной vareжкой по мягким хрястцам гладят.

Будет вам дисней-ленд по-русски, размозжат вам младенческие ваши головки.

Там вам всем и надо, трусью трясущимся.

Потому что такое прокисшее, прогорклое бытие хуже небытия.